

Василий Васильевич Розанов

Смертное



*Часть сборника
Апокалипсис нашего времени
(сборник)*



Василий Васильевич Розанов

Смертное

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2573105

Апокалипсис нашего времени / Василий Розанов; [вступ. ст., коммент.

А. Николукина]: Эксмо; Москва; 2008

ISBN 978-5-699-29082-6

Аннотация

«Смертное» – вторая книга «опавших листьев» (написанных в конце 1911 – начале 1912 г.) – посвящена в основном автобиографическим темам. Подробности тайного венчания В.В.Розанова со второй женой определили характер первой публикации как «домашнего издания». При жизни автора книга была издана в количестве 60 экз. и в настоящее время является библиографической редкостью.

Содержание

Смертное

4

Василий Васильевич Розанов Апокалипсис нашего времени

Смертное

Только такая любовь к человеку есть настоящая, не уменьшенная против существа любви и ее задачи, – где любящий совершенно не отделяет себя в мысли и не разделяется как бы в самой крови и нервах от любимого. Вот *эту*-то любовь к человеку я и встретил в своем «друге» и в матери ее, Ал. Адр-е: почему они две и сделались моими воспитательницами и «путеводными звездочками». И любовь моя к В. началась, когда я увидел ее лицо полное слез (именно лицо плакало, не глаза) при «t» моего товарища, Ивана Феоктистовича Петропавловского (Елец), их постояльца, платившего за 2 комнаты и стол 29 руб. (приготов. класс). Я увидел такое горе «по чужом человеке» (неожиданная, но не скоропостижная смерть), что остановился как вкопанный: и это решил мой выбор, судьбу и будущее.

И я не ошибся. Так и потом она любила всякого человека, в котором была нравственно уверена.

В-ря есть самый нравственный человек, которого я встретил в жизни и о каком читал. Она бы скорее умерла, нежели бы произнесла неправду, даже в мелочи. Она просто этого не могла бы, не сумела. За 20 лет я не видел ее хотя *двинувшуюся в сторону лжи*, даже самой пустой; ей никогда в голову не приходит возможность сказать не то, что она определенно думает.

Удивительно и натурально.

(19 декабря 1911 г.).

Но точь-в-точь такова и ее мать. В-ря («следующее поколение») только несколько одухотвореннее, поэтичнее и нервнее ее.

«Верность» В-ри замечательна: ее не могли поколебать ни родители, ни епископ Ионафан (Ярославль), когда ей было 14 ¹/₂ лет и она полюбила Мих. Павл. Бутягина, которому была верна и по смерти, бродя на могилу его (на Чернослободском кладбище, Елец)... И опять – я влюбился в эту любовь ее и в память к человеку, очень несчастному (болезнь, слепота), и с которым (бедность и болезнь) очень страдала.

Ее рассказ «о их прошлом», когда мы гуляли ввечеру около Введенской церкви, в Ельце, – тоже решил мою «судьбу».

Моя В-ря одна в мире.

(20 лет).

* * *

Что я все нападаю на Венгерова и Кареева. Это даже мелочно... Не говоря о том, что тут никакой нет «добродетели».

Труды его почтенны. А что он всю жизнь работает над Пушкиным, то это даже трогательно. В личном обращении (раз) почти приятное впечатление. Но как взгляну на живот – уже пишу (мысленно) огненную статью.

* * *

Ужасно много *гнева* прошло в моей литерат. деятельности. И все это напрасно. Почему я не люблю Венгерова? Странно сказать: оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан).

* * *

Только то чтение удовлетворительно, когда книга *переживается*. Читать «для удовольствия» не стоит. И даже для «пользы» едва ли стоит. Больше пользы приобретаешь «на

ногах», – просто живя, делая.

Я *переживал* Леонтьева (К.) и еще отчасти Талмуд. *Начал* «переживать» Метерлинка: страниц 8 я читал неделю, впадая почти после каждых 8-ми строк в часовую задумчивость (читал в конке). И бросил от *труда* переживания, – великолепного, но слишком утомляющего.

Зачем «читал» другое – не знаю. Ничего нового и ничего поразительного.

Пушкин... я его *ел*. Уже знаешь страницу, сцену: и перечтешь вновь: но это – еда. Вошло в меня, бежит в крови, освежает мозг, чистит душу от грехов. Его

Когда для смертного умолкнет шумный день

одинаково с 90-м псалмом («Помилуй мя, Боже»), Так же велико, оглушительно и религиозно. Такая же правда.

* * *

Есть люди, которые рождаются «ладно» и которые рождаются «не ладно».

Я рожден «не ладно»: и от этого такая странная, колючая биография, но довольно любопытная.

Не «ладно» рожденный человек всегда чувствует себя «не

в своем месте»: вот именно как я всегда чувствовал себя.

Противоположность – бабушка (А.А. Руднева). И ее благородная жизнь. Вот кто родился... «ладно». И в бедности, ничтожестве положения – какой непрерывный *свет* от нее. И польза. От меня, я думаю, никакой «пользы». От меня – «смута».

* * *

Чего я жадничаю, что «мало обо мне пишут». Это истинно хамское чувство. Много ли пишут о Перцове, о

Философове. Как унизительно это сознание в себе хамства. Да... не отвязывайся от самого лакейского в себе. Лакей и гений. Всегдашняя и, м. б., всеобщая человеческая судьба (кроме «друга», который «лакеем» никогда, ни на минуту не был, глубоко спокойный к любви и порицаниям. Также и бабушка, ее мать).

* * *

Почему я издал «Уедин.»?

Нужно.

Там были и побочные цели (главная и *ясная* – соединение с «другом»). Но и еще сверх этого слепое, неодолимое:

НУЖНО.

Точно потянуло чем-то, когда я почти автоматически начал нумеровать листочки: и отправил в типографию.

* * *

Работа и страдание – вот вся моя жизнь. И утешением – что я видел заботу «друга» около себя.

Нет: что я видел «друга» в самом себе. «Портретное» превосходило «рабочее». Она еще более меня страдала и еще больше работала.

Когда рука уже висела, – в гневе на неподвижность (весна 1912 года) она, остановясь среди комнаты, – несколько раз взмахнула обеими руками: правая делала полный оборот, а левая – поднималась только на небольшую дугу, и со слезами стала выкрикивать, как бы топая на больную руку:

– Работай! Работай! Работай! Работай!

У ней было все лицо в слезах. Я замер. И в восторге и в жалости.

(левая рука имеет жизнь в плече и локте, но уже в кисть нервный импульс не доходит).

* * *

Мать умирает, дети даже не оглянутся.

– Не мешала бы нашим играм.

И «портреты великих писателей»... И последнего недолгого «друга».

* * *

«Ты тронь *кожу* его», – искушал сатана Господа об Иове... Эта «кожа» есть у всякого, у всех, но только – не одинаковая. У писателей, таких великодушных и готовых «умереть за человека» (человечество), вы попробуйте задеть их *авторство*, сказав: «*Плохо пишете*, господа, и *скучно* вас читать», и они с вас кожу сдерут. Филантропы, кажется, очень не любят «отчета о деньгах». Что касается «духовного лица», то оно, конечно, все «в благодати»: но вы затроньте его со стороны «рубля» и награды к празднику «палицей», «набедренником» и какие еще им там полагаются «прибавки в благодати» и, в сущности, в «благодатном расположении начальства»: – и «лица» начнут так ругаться, как бы русские никогда не были крещены при Владимире...

Ну а у тебя, Вас. Вас., где «кожа»?

Сейчас не приходит на ум – но, конечно, *есть*.

Поразительно, что у «друга» и у Устьянского нет «кожи». У «друга» – наверное, у Устьянского кажется наверное. Я никогда не видел «друга» оскорбившимся *и в ответ разгневанным* (в этом все дело, об этом сатана говорил). Восхитительное в нем – полная и спокойная гордость (немножко не то слово), молчаливая, – которая ни разу не сжалась и, разогнувшись пружиной, – отвечала бы ударом (в *этом* дело). Когда ее теснят – она посторонится; когда нагло смотрят на нее – она отходит в сторону, отступает. Она никогда не поспорила, «кому сойти с тротуара», кому стать «первому на коврик», – всегда и первая уступая каждому, до зова, до спора. Но вот прелесть: когда она отступала – она всегда была царицею, а кто «вступал на коврик» – был и казался в этот миг «так себе». И между тем она не знает «Ђ» (точнее, все «е» пишет через «Ђ»): кто учил?

Врожденное.

Прелесть манер и поведения всегда врожденное. Этому нельзя научить и выучиться. «В моей походке душа». К сожалению, у меня, кажется, преотвратительная походка.

* * *

Страшная пустота жизни. О, как она ужасна...

* * *

Несут письма, какие-то теософические журналы (не выписываю). Какое-то «Таро»... Куда это? зачем мне?

«Прочти и загляни».

Да почему я должен во всех вас заглядывать?

* * *

Забывать землю *великим забвением* — это хорошо.

(идя из *Окруж. Суда*, — об «Уед.»).

* * *

— *Куда* я «поеду»... Я *никуда* не «поеду»... Я умираю... «Поеду» в землю... А куда *вы* «поедете» и кто после меня будет жить в этих семи комнатах... я не знаю... (*громко, громко*, — *больше чем «на всю комнату», но не выкрикивая, а «отчеканивая»*).

Мы все замерли. Дети тупо и раздраженно. Они все сердятся на мать, что она кричит, то — плачет. Мешает их «ровному настроению».

(Переехав на новую квартиру, — «возня», — и в день отъезда Ш., о чем она весь день горько плакала. 27-го мая за

вечерним чаем.)

* * *

Шуточки Тургенева над религией – как они *жалки*.

* * *

Кто не знал горя, не знает и религии.

* * *

Любить – значит «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя»; везде скучно, где не ты.

Это внешнее описание, но самое точное.

Любовь вовсе не огонь (часто определяют): любовь – воздух. Без нее – нет дыхания, а при ней «дышится легко». Вот и все.

* * *

– Вася, сходи – десяток сухарей.

Это у нас жил землемер. За чаем сидел он и семинарист. Я побежал. Молодой паренек лавочник, от хорошей погоды или удачной любви, отсчитав пять пар, – бросил в серый па-

кет еще один.

– Вот тебе одиннадцатый.

Боже мой, как мне хотелось съесть его. Сухари покупали только жильцы, мы сами – никогда. На деснах какая-то сладость. Сладость ожидания и возможности.

Я шел шагом. Сердце билось.

– *Могу. Он мой. И не узнают. И даже ведь он мне дал, почти мне.* Ну, при покупке им и бросив в их тюрюк (пакет). Но это все равно: они послали за десятью сухарями и я принесу десять.

Вопрос, впрочем, «украсть» не составляет вопроса: воровал же постоянно табак.

Что-то было другое: – достоинство, великодушие, великолепиие.

Все замедляя шаги, я подал пакет.

Сейчас не помню: сказал ли: «тут одиннадцать». Был соблазн – сказать, но и еще больший соблазн – не сказать.

И не помню, если сказал, дали ли (догадались ли они дать) мне 11-й сухарёк. Я ничего не помню, должно быть от волнения. Но эта минута великолепной борьбы, где я победил, – как сейчас ее чувствую.

Я оттого ее и помню, что обыкновенно не побеждал, а побеждался. Но это – потом, большим и грешным.

(в Костроме, 1866-7 гг.).

Сестра Верочка (умирала в чахотке 19-ти лет) всегда вынимала мякиш из булки и отдавала мне. Я не знал, почему она не ест (не было аппетита). Но эти массы мякиша (из 5-копеечной булки) я съедал моментально, и это было наслаждение. Она меня же посылала за булкой, и когда я приносил, скажет: «Подожди, Вася». И начинала, разломив вдоль, вынимать бока и середочку.

У нее были темные волосы (но не каштановые), и она носила их «коком», сейчас высоко надо лбом; и затем – гребешок, узкий, полукругом. Была бледна, худа и стройна (в семье я *только* был некрасив). Когда наконец решили (не было денег) позвать Лаговского, она лежала в правой зелененькой (во 2-м этаже) комнате. Когда он вошел, она поднялась с кровати, на которой постоянно лежала. Он сказал потом при мне матери:

– Это она похрабрилась и хотела показать, что еще «ничего». Перемените комнату, зеленые обои ей очень вредны. Дело ее плохо.

Как она умерла и ее хоронили, я ничего не помню.

Однажды она сказала мне: «Вася, принеси ножницы». Мне было лет едва ли 8. Я принес. Из печатного листка она выстригла узкую крошечную полоску и бережно положила к

себе в книгу, бросив остальное. Напечатано было: *Самойло*. «Ты не говори никому, Вася». – Я мотнул головой.

Поступив в гимназию, я на естественной истории увидел за учительским столиком преподавателя, которого называли «Самойло». Он был умеренно-высокого роста, гладко выбритый в щеках и губах, большие слегка волнистые волосы, темно-русые, ходил всегда не иначе как в черном сюртуке (прочие – в синих фраках) и необыкновенно торжественный или, вернее, как-то пышный, величественный. Он никогда не допускал себе сходить со стула и демократически «расхаживать по классу». Вообще в нем ничего не было демократического, простого. Среди других учителей, ужасно ученых, он был как бог учености и важности. Может быть, за год он улыбнулся раза два, при особенно нелепом ответе ученика, – т. е. губы его чуть-чуть сжимались в «мешочек», скорее морщились, но с видом снисхождения к забавному в ученике, позволяя догадываться, что это улыбка. Говоря, т. е. пропуская из губ немногие слова, он всегда держал (рисую по бумаге «штрихи») ручку с пером как можно дальше от пальцев, – и я видел благородные, суживающиеся к концу пальцы с очень длинными, заостренными, без черноты под ними, ногтями, обстриженными «в тон» с пальцами (уже, уже, – ноготь: но и он обстрижен с боков конически).

Мы учили по Радонежскому или Ушинскому:

«Я человек хотя и маленький, но у меня 32 позвонка и 12 ребер»... И еще разное, противное. В 3-м классе (брат

Федор) он (Самойл.) учил ботанике. Это была толстая книга «Ботаника Григорьева»; но это уже были недоступности, на которые я не мог взирать.

Мечта моя, года три назад и теперь, – следующая. Может быть, кто-нибудь любящий – исполнит (Флоренский? Цветков?). Нужно отобрать из моей коллекции римских монет – экземпляров 100 или 200, консульских денариев и из денариев Траяна, Адриана и Антонина Пия (особенно многочисленны). Поместить каждую монету в коробочку (у меня их громадный запас), надписать сверху *определение монеты* («Римская республиканская. Патрицианский род Манлиев», «Юлиев» и т. д.). Донышки коробок обмазать гуммиарабиком, и прилепить ко дну небольшого ящика под стеклом, – сперва республиканские по порядку алфавита, и, затем, императорские по хронологии. Закрывать и запирать ящик (ящики есть у меня). И пожертвовать, – т. е. попросить принять его в дар, – начальнику Григоровского училища (теперь пансион? гимназия?) в Костроме – для этого училища. Позвав слесаря, можно там или поместить это в коридоре учениц старшего класса, или – если бы встретились препятствия – в старшем классе, прибав на петлях и крюках верхнюю сторону, а снизу сделав «отстранение» (от стены; такие «отстранения» у меня есть при ящиках). Таким образом, ящик будет в *покатом положении*. Над ящиком укрепить небольшой серебряный венок, на что из оставленных мною денег выдать

рублей 150–200, с пластинкою-надписью посредине его:

Григоровскому училищу

от воспитанницы

1860–1867 годов

Веры Розановой.

Верочка была вся благородная и деликатная. Она была похожа только на старшего брата Колю (достоинство), на нас прочих не была похожа.

* * *

Штейнгауэр крепко схватил меня за руку. Испуганно я смотрел на него, и пот проступил во всем теле.

Он был бритый, с прекрасным лбом.

– Что вы делаете?

– Что? – спросил я виновно и не понимая.

– Пойдемте.

И вытащил меня в учительскую.

– Видели вы такого артиста, – негодуя, смеясь и удивляясь, обратился он к товарищам учителям. Там же был и инспектор Ауновский. – Он запел песню у меня на уроке.

Тут я понял. В самом деле, опустив голову и, должно быть, с каплей под носом, я сперва тихо, «под нос», а потом громче и наконец на весь класс запел:

Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет.

Ту, что – наряду с двумя-тремя – я любил попевать дома.
Я вовсе забыл, что – в школе, что – учитель и что я сам – гимназист.

«Природа» воскресла во мне...

Я, подавленный, стоял тогда в учительской.

Но, я думаю, это было натуральное «введение» к «потом»: мог ли я написать «О понимании», забыв проходимое тогда учительство...

Да, в сущности, и все, все «потом»...

Этот педагогический «фольклор» я посвящаю Флоренскому.

(во 2-м классе Симбирской гимназии).

* * *

Степанов (математика) ловил нас следующим образом. У него была голова толстая и красная, как шар голландского сыра, – и он клал ее в ладонь, поставив локоть на стол (учительский). Нам (ученикам) было незаметно, что он оставлял щелочку между пальцами, – и следил через нее «в боку», в то же время обратясь лицом к «классной доске», где ученик отвечал ему его ерунду (алгебру).

Тогда «в боку», – видя, что «благорастворение воздуха», – ученик Умов или кто, отрывая бумажки, сжимал их, и образовывался комочек с закоулочками и щелочками. И спускал на пол. Таким образом, на полу у его ног образовалась отличная «наша Свияга» (местная речка) и в ней эти рыбки. Когда все готово, он взглядывал на Степанова. Тот сидит массой и смотрит презрительно на длинноногого Пахомова, который стоит у доски и молчит, не зная, что говорить и писать.

Тогда Умов, видя, что «прекрасный воздух» продолжается, прикреплял к ниточке согнутую булавку и, опустив «в воду», начинал ловить рыбу. Т. е. зацепит бумажку и вытащит кверху.

Тишина. Рай. И счастье. Я издали смотрю и сочувствую. Приспособляю у себя подобное, хотя предпочитал «музыку на перьях».

Тсс... Тсс... Хорошо. Хорошо.

Вдруг гром, яростный, визжащий. Дело в том, что Степанов-то неподвижен и не вынул головы из проклятой ладони. Тем неожиданнее он поражает нас:

– Умов, бойван («л» не выговаривал)! Пошой в угой! Пошой в угой, бойван!

Умов вскочил. Дрожит. Удочка выпала из рук.

– Ты там, бойван, ибу удишь! ибу удишь (*р* не выговаривал)...

– Ежей (рожей) к стене, ежей к стене.

Умов плетется к двери. Но этот проклятый Степанов умел так делать, что и весь класс чувствовал себя подавленным, раздавленным, – «проклятым и подверженным смерти». А в Степанове мы имели точно «Бога, наказавшего нас».

Он был зол и красен.

У него музыки я не смел на уроках. Был очень скромн, потому что я ничего не знал из математики (не понимал). Обыкновенно же «музыка» состояла: перо «N» (aroleon) – нажмешь на парту, острийки отскочат, воткнешь их «по линии» в парту (одно, два) и, смотря внимательно «на урок» и вообще имея вид «благого», пускаешь тихую, мелодичную «трын, трын» на уроке. – Другой такую же в другом углу, еще пуще – где-нибудь. Учитель из себя выходит. Но этого невозможно «найти». У всех лица благочестивы, тихи и воздержанны.

(в Симбирске, 71–72 годы).

У Кости Кудрявцева директор спросил на переэкзаменовке:

– Скажите, что вы знаете о *кум*?

Костя был толстомордый (особая лепка лица), волосы ежом, взгляд дерзкий и наглый.

А душа нежная.

Улыбнулся и отвечает:

– Ничего не знаю.

– Садитесь. Довольно.

И поставили единицу.

Костя мне с отчаянием говорил (я ждал у дверей):

– Подлец он этакий: скажи он мне *квум* – и я бы ответил. О *квум* три страницы у Кремера (грамматика). Он, черт этакий, выговорил *кум* (есть право и так выговорить, но редко). Я подумал: «*Кум* — предлог с», что же об нем отвечать, кроме того, что «с творительным», но это до того «само собою разумеется», что я счел позорным отвечать для пятого класса.

И исключили. В тот час у него умер и отец. Он поступил на службу (чтобы поддерживать мать с детьми), – сперва в полицейское управление, – и писал мне отчаянные письма («Вася, думали ли мы, что придется служить в проклятой полиции»), потом – на почту, и «теперь работаю в сортировочной» (сортировка писем по городам).

В то же время где-нибудь аккуратный и хорошенький мальчик «Сережа Муромцев» учился отлично, директор его гладил по голове, кончил с медалью, в университете – тоже с медалью, наконец – профессор «с небольшой оппозицией»... И

До хорошего местечка
Доползешь ужом.

Вышел в председатели 1-й Госуд. думы. И произнес зна-

менитое mot¹: «Государственная дума *не может ошибаться*». Неужели мой Костя мог бы так провалиться на государственном экзамене??!!

Да, он *кум* не знал, но он был ловок, силен, умен, тактичен «во всяких делах мира». А как греб на лодке! а как – потихоньку – пил пиво и играл на билиарде! И читал, читал запоем.

Где этот милый товарищ?!

* * *

Александр Петрович, побрякивая цепочкой часов, остановил меня в коридоре:

– Розанов, у вас ни одной этимологической ошибки...

Я стоял, скромно опустив голову, как Мадонна на «Благовещении» у Боттичелли.

– Но синтаксис... невозможный. Отвратительно!!! Отчего это??!!

Молчу. Улыбаюсь извинительно!

А очень просто. Как нам продиктуют работу, то бедные мои товарищи так и спешат, и спешат. «Плохой же Розанов» хитрым образом положит руки в карманы. Посмотрит на окошечко. Посмотрит на солнышко. И, лишь совершенно

¹ Слово (фр.).

успокоясь и ни малейше не волнуясь, «приступает».

Я очень хорошо знал, что «ни за какой синтаксис не ставят двойки» (не имеют права), а двойки ставят только за этимологию. И вопрос был в том, чтобы не сделать этимологической ошибки. Так как optativus'ов² и conjunctivus'ов³ я не знал, – или помнил что-то вроде «каши» (спуталось в голове), – то я осторожно переделывал (переиначивал чуть-чуть) строение фразы, и, понаставив (мысленно, переделывая) союзов и прочее, – везде обходился с одними «изъявительными». Персы и греки у меня черт знает как говорили: но грызущий перо в досаде учитель не имел права подчеркнуть двумя чертами («грубая этимологическая ошибка»).

Этот бедный Александр Петрович (Заболотский) – умер от круглой язвы желудка, – в Вязьме. Он был очень добр и снисходителен к ученикам. Ученики же его ужасно измучивали. И тут – болезнь. Уже лет за 20 до смерти он все хворал желудком и ездил в Ессентуки лечиться – «катар». – Но это был не катар, а начало круглой язвы желудка. Вся жизнь его была тусклая и несчастная.

(испытание зрелости по греческому языку).

² Желательное наклонение (лат.).

³ Сослагательное наклонение (лат.).

Мамочка никогда не умела отличить *клубов* дыма от пара и, войдя в горячее отделение бани, где я поддал себе на полок, вскрикивала со страхом: «Какой *угар!*..» Также она не умела отпереть никакого замка, если отпирание не заключалось в простом поворачивании ключа *вправо*. Когда я ей объяснил, что нужно же писать «мнѢ» и вообще в дательном падеже – Ѣ, то она, не пытаясь вникнуть и разобраться, вообще везде предпочла писать Ѣ. Когда я ей объяснил, что лучше везде писать *e*, то она уже не стала переучиваться, и удержала старую привычку (т. е. везде Ѣ).

Вообще она не могла вникнуть ни в какие *хитрости* и ни в какие *глупости* (мелочи): слушая их ухом, она не прилежала к ним *умом*.

Но она высмотрела детям все *лучшие школы* в Петербурге. Пошла к Штембергу (для Васи). Директор очень понравился. Но, выйдя на двор, во время роспуска учеников, она стала за ними наблюдать: и, придя, изложила мне, что все хорошо, и директор, и порядок, но как-то вульгарен будет состав товарищей. Пошла в школу Тенишевой, – и сказала твердое: «Туда». Девочкам выбрала гимназию Стоюниной, а нервной, падающей на бок, Тане, как и неукротимой Варваре, выбрала школу Левицкой. И действительно, для *оттенков* детей по-

дошли именно эти *оттенки* школ; она их не угадала, а твердо выверила.

Вообще твердость суждения и поступка – в ней постоянны. Никакой каши и мямленья, нерешительности и колебания. И никогда «сразу», «с азарту», «вдруг». Самое колебание продолжалось 2–3 дня, и она ужасно в них работала умом и всей натурой.

А замка не умела отпереть: ибо это и действительно ведь *глупость*. Ибо замки ведь вообще должны *запирать*, и – *только*, т. е. все «направо», а что сверх сего – «от лукавого». И она «от лукавого» не понимала.

В Ельце кой-что мне грозило, и я между речей сказал ей, что куплю револьвер. Вдруг к вечеру с пылающим лицом она входит в мою квартиру, в доме Рогачевой. И, едва поцеловав, заговорила:

– Я сказала Тихону (брат, юрист)... Он сказал, что это *Сибирем пахнет*.

– Сибирью...

– Сибирем, – она поправила, – равнодушная к форме и выговаривая, как восприняло ухо. Она была занята *мыслью о ссылке*, а не грамматикой.

Крепко схватив, я ее осыпал поцелуями. И до сих пор эта тревога за любимого у меня не разъединима с «Сибирем пахнет».

Она вся пылала, торопилась и запрещала (т. е. покупать револьвер). Да я и стрелять не умел.

Она вышла из 3-го класса гимназии. Именно она все пачкала (замуслякивала) чернилами парту заметив, что Иван Павлович (Леонов), говоря ученицам объяснения, опирался (он был огромного роста и толстый) пальцами на стол. Тот все пачкался. Пожаловался. И поставили в поведении «4». Мамаша (Ал. Адр. Руднева), вообразив, что «4 в поведении *девушке*» — марает ее и намекает на «VII заповедь», оскорбилась и сказала:

«Не ходи больше. Я возьму тебя из гимназии. Они *не смеют порочить девушку*».

Это, кстати, и совпало с началом влюбления в Михаила Павловича «Мамаша, бывало, посылает за бумагой (нитки) я воспользуюсь и мигом пролечу в Черную Слободу, – чтобы хоть взглянуть на дом, где он жил».

* * *

Удивительна все-таки непроницательность нашей критики... Я добр или по крайней мере совершенно не злобен. Даже лица, причинившие мне неисчерпаемое страдание и унижение, Афонька и Тертый, – не возбуждают во мне собственно злобы, а только смешное и «не желаю смотреть». Но никогда не «играла мысль» о их страдании. Струве – ну да, я хотел бы поколотить его, но добродушно, в спину. Господи, если бы мне «ударить» его, я расплакался бы и сказал: «Ударь меня вдвое». Таким образом, никогда *месть* мне не прихо-

дила на ум. Она приходила разве в отношении учреждений, государственности, церкви. Но это – не лица, не душа.

Таким образом, самая *суть* моя есть доброта – самая обыкновенная, без «экивоков». Ничье страданье мне не рисовалось как *мое наслаждение*, – и в этом все дело, в этом суть «демонизма». Которого я совершенно лишен, – *до непредставления его и у кого-нибудь*. Мне кажется, что это все выдуманно, преимущественно дворянами, как Байрон, – и от *молодости*. «Были сказки о домовых, а потом выдумали занимательнее – демон».

Печальный и пр. и пр.

...

Между тем все статьи обо мне начинаются определениями: «*демонизм Р.*». И ищут, ищут. Я читаю: просто – ничего не понимаю. «Это – не я». Впечатление до такой степени *чужое*, что даже странно, что пестрит моя фамилия. Пишут о «корове», и что она «прыгает», даже потихоньку «танцует», а главное – у нее «клыки» и «по ночам глаза светят зеленым блеском». Это ужасно странно и нелепо, и такое нелепое я выношу из всего, что обо мне писали Мережковский, Волжский Закржевский, Куклярский (только у Чуковского строк 8 *индивидуально-верных*, – о давлении крови, о температуре, о множестве сердец). С Ницше... никакой сходимости! С Леонтьевым – никакого же личного (сход.). Я только люблю его. Но сходство и «люблю» – разное.

Я самый обыкновенный человек; позвольте полный титул: «коллежский советник Василий Васильевич Розанов, пишущий сочинения».

Теперь, эти «сочинения»... Да, мне мною пришло на ум, чего раньше *никому* не приходило, в том числе и Ницше, и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей (точек зрения, узора мысленной ткани) я считаю себя *первым*. Мне иногда кажется, что я понял *в сю историю* так, как бы «держу ее в руке», как бы историю *я сам сотворил*, – с таким же чувством уроднения и полного постижения. Но сюда я выведен был своим «положением» («друг» и история с ним), да и пришли лишь именно *мысли*, а это – не *я сам*. Я – добрый и малый (*parvus*): а если «мысли» действительно великие, то разве мальчик не «открывает солнца», и «звезд», всю «поднебесную», и что «яблоко падает» (открытие Ньютона), и даже труднейшее и глубочайшее – первую молитву. Вот я такой «мальчик с неутертым носом», – «все открывший». Это мое *положение*, но не *я*. От этого я считаю себя, что «в Боге»... У меня есть серьезная уверенность: – Бог *для того-то* и подвел меня (точно взяв за руку) встретиться с «другом», *чтобы* я безмерно наивным и добрым взглядом *увидел* «море зла и гибели», вообще *сокрытое* «от премудрых земли», о чем не догадывались никогда деревянные попы, да и «святые» их категории, – не догадывался никто, считая все за «эмпирию», «случай» и «бывающее», тогда как это суть, душа и *от самого источника*. Слушайте, человеки, что для

нас самое убедительное? Нечто, что мы сами увидели, узнали, ущупали, унюхали. Ну, словом: *знаю* — и баста. Так для жулика — самое ясное, что он может отпереть всякий замок отверткой; для финансиста — что не ошибется в бирже; для Маркса — что рабочим надо дать могущество; и прочее. Всякий человек живет немногими знаниями, которые суть плод его жизни, именно *его*; опыта, страдания, нюха и зрения. Для меня (ведь *внутренность же* свою я знаю) было ясно в Е., 1886–1891 гг., что я — погибал, что я — не нужен, что я, наконец, — озлоблен (вот тогда «демонизм» был), что я весь гибну, может быть, в разврате, в картах, вернее же в какой-то жалкой уездной пыли, написав лишь свое «О понимании», над которым все смеялись...

Тогда я жил оставленный, брошенный — *без моей вины*. Обошел человек и сделал вред.

Вдруг я встречаю, при умирании третьего (товарищ), слезы... Я удивился... «Что такое слезы?» «Я никогда не плачу». «Не понимаю, не чувствую».

Я весь задеревенел в своей злобе и оставленности и мелких «картишках».

Плач, — у гроба *третьего* — был для меня что яблоко для Ньютона. «Так вот, можно жалеть, плакать»... Удивленный, пораженный, я стал вникать, вслушиваться, смотреть.

Та же судьба, та же оставленность. Но реагирующая на зло *плачем в себе*, без осуждения, без недоумения, без всякой злобы, без догадки, что есть в мире злоба, вот «демонизм»,

вот «бесовщина».

Я подал руку, – долго не принимаемую, по неуверенности. Ведь я ходил в резиновых глубоких галошах в июне месяце, и вообще был «чучело». Да и «невозможно» было (администрация и проч.). Но колебания быстро прошли: случилось (от нервности) несчастье (оказавшееся через несколько месяцев мнимым), – которое, так сказать, «резиновые калоши» простирало до преисподней и делало меня «совершенно невозможным». Но «слезы по третьем» решили все: именно когда казалось все «разрушенным и погибшим», и до окончания веков, когда *подойти ко мне* значило *погибнуть самому* (особенная личная тайна), и я обо всем этом честно рассказал, – рука протянулась со словами «колебания кончились». Дальше, больше, годы, вдруг бороды лопатой говорят:

– Стоп!

Не обращаю внимания, но за ними и высокопросвещенные люди, как С.А. Рачинский, говорят:

– Нельзя.

«Что такое»?! Будь я «в панталонах мальчик», я ничего особенного бы не понял, не постигнул. Нужно было бесконечно наивной природе (я) столкнуться с фактом, чтобы понять... что «ведь это *искусственное дело падать вниз* яблоку, оторвавшемуся от ветки: натурально оно должно бы оставаться в воздухе; а уж если лететь, то почему же не вверх, а вниз: значит – *земля притягивает*». Я понял (и первый я),

что не в «лопатах» дело, которым «все равно», и не в Рачинском, который благочестив, ко мне добр, а в другом, от *чего Рачинский не хотел отстать*, а «лопаты» приставлены «к этому забору». Кому-то далекому-далекому, чему-то великому-великому, нужно...

– Что нужно?

«– Играйте вы по-прежнему в преферанс, – ну, и погибнете, но мало ли же вообще людей гибнет. И этот «друг» ваш (с скрытною уже тогда болезнью)... тоже погибнет... Но ведь что же?.. Ведь это вообще *есть, бывает*, – бывает смерть и болезнь, и разврат, и пустота жизни или лица... Ну, и что же особенного тут, чему же волноваться...»

– Да нет, не в *этом* дело, а что я был *зlobен*, остервенен, забыл *Бога*, людей мне было не нужно... А теперь и совсем *ваш* же с образами, лампадкой, христианством, Христом, с Церковью... Я – *ваш*.

«– Именно – *не «наш»*, а такого нам вовсе не нужно, поскольку вы *вдвоем, соединены*. И будете «наши» – лишь *разъединясь*».

– «Разъединясь»?.. Значит – опять в злобу, в атеизм, вред людям...

«– Это уже наше дело, мы все берем на себя. О злобе вашей помолимся, и атеизм – замолим, и вообще все обойдется, потихоньку и не колко. Ну кто не вредит людям, и разве все так особенно «веруют». А обходится. Будет сохранен порядок: а если вы погибнете в разделении, то ведь людей

вообще всяких и постоянно очень много гибнет. Ничего нового и даже, извините, ничего интересного».

Конечно, при «упрямстве» можно было бы «преломить», и вышла бы грубость, но никакого открытия. Но я был именно кроток, – как и наивность или «натуральность» (дикий человек) простиралась до того, что я *годы* ничего не замечал... Как *годы же* потом шло мое «ньютоновское открытие», что «яблоко очень просто падает на землю» от **того-то**.

Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года.

Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это – в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно – тихо, особенно – один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали, что «выживет». И вот, тихо-тихо. Все прекрасно. Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:

«...вы здесь – *чужие*. Зачем вы сюда пришли? К *кому*? Вас никто *не ждал*. И не думайте, что вы сделали что-то «так» и «что следует», придя «вдвоем» как «отец и дочка». Вы – «смутьяны», от вас «смута» именно от того, что вы «отец и дочка» и вот так распоясались и «смело вдвоем».

И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою... Зажались от нас... Ушли в свое «правильное», когда мы были «неправильные».

Ушли, отчуждились... и как будто указали, или сказали: «Здесь – *не ваше место*, а – других и настоящих, вы же пойдите в *другое место*, а где его адрес – нам все равно».

Но, повторяю, жулик знает, чем «отвертывать замки», а «кто молится» и счастлив – тоже знает, что он – *молится* именно, и – именно счастлив; что у него «хорошо на душе»; и вообще что *в это время*, вот, может быть, *на одну эту минуту в жизни*, – он сам хорош.

Опять настаиваю, что дело в кротости, что я был именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролюбивый человек. «Как все».

Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но впервые эту мысль сказавший, без предварений и подготовки, как «внезапное», «вдруг», «откуда-то», то я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и как победитель. Победитель того, чего никто не побеждал, даже того, *кого* никто не побеждал.

– Пойдем, Таня, отсюда...

– Пора домой?

– Да... домой пора.

И вышли. Тут все дело в «отмычке», которая *отпирает*, и – «в кротости, *которую я знал*».

Я как бы вынес *кротость с собою*, и мою «к Богу молитву» – с собою же, и Таню – с собою: и что-то (земля и небо) так повернулось около меня, что я почувствовал:

«– Кротость-то у меня, а у нас – стены. И у меня – молит-

ва, а у нас опять же – стены. И Бог со мною. И религия во мне. И в судьбе. Вся судьба и «свелась» для этого мгновения. Чтобы тайное и существовавшее всегда наконец-то сделалось явным, осязательным, очевидным, обоняемым».

...«Вы именно жестоки и горды («отмычка» *у меня*)... Именно – холодны... Бога в вас нет, и у вас нет, ничего нет, кроме слов... обещаний, надежд, пустоты и звона. Все вы и вся *полнота ваших средств и орудий*, ваших богатств и библиотек, учености и мудрости, и самых, как вы говорите, «благодатных таинств», не могут сотворить капельку добра, живого, наличного, реального, если оно *ново в веках, не по шаблону и прежде бывавшим примерам*, и тут не то, чтобы вы «не можете», – все вы, бороды лопатою, или добры сами по себе, или вам «все равно», а что-то вас задерживает, и *новое зло* вы легко сотворяете, вот как приходскому духовенству в Петербурге обобрать не приходское, да и вообще много *нового* злого: а вот на «доброе», тоже новое, – связаны ваши руки какою-то страшною, вам самим неведомою силою, которая так же «далека», «неосязаема» и «повсеместна»... как ньютоново тяготение. Которое *я открыл* и с него начнется новая *эра миропостижения*, все – новое, хоть начинай считать «первый год», «второй год». Это, должно быть, было в 1896 году или 1897 году.

* * *

Ах, как все это мне надоело и опротивело.

(сейчас и часто, – о хламе, рвущемся с улицы в дом: сторонние письма, просьбы о «рецензиях», еще просьбы почему-то об «устройстве на должность» и о прочтении «их рукописей»).

* * *

Почему-то мамин испуг был творческий, а мой испуг был парализованный. У нее испуг переходил во взрыв деятельности, притом целесообразной, у меня – в бессилие слез, отчаяние, писем (жалоба, рассказ).

Так была история ее с Шурой (поп, обморок, Мержеевский) и история с приговором Анфимова (открытие болезни в 1897 г. в Пятигорске): я повез ее через Военно-Грузинскую дорогу и в Крым «показать всю красоту мира», перед засыханием. Но никакого уменья борьбы. Чтобы «бороться», ведь нужно идти размеренным шагом: меня же трясло и я ложился как больной.

* * *

С выпученными глазами и облизывающийся – вот моя внешность. Некрасиво? И только чрезмерным усилием мог привести себя, на час на два в *comme il faut*.

* * *

«...дорого назначаете цену книгам». Но это преднамеренно: книга – не дешевка, не разврат, не пойло, которое заманивает «опустившегося человека». Не дева из цирка, которая соблазняет дешевизною.

Книгу нужно уважать: и первый этот знак – готовность дорого заплатить.

Затем, сказать ли, мои книги – лекарство, а лекарство вообще стоит дороже водки. И приготовление – сложнее, и вещества (душа, мозг) положены более ценные.

* * *

Бабушка звала ее «Санюшей», мы – «Шурой», но сама она никогда так не называла себя и не подписывалась на письмах. А – или «Аля», или сдержаннее – «А». Так звали ее

подруги, начиная с поступления на французские курсы. Зеня и Марта, потом усиленно одна Зеня, потом долгие годы только Марта, потом – «Вера» и все залила «Женя» и наконец окончательно всех залила «Наташа». «Аля», «Алечка», «наша Аля», «моя Аля». Дети стали звать ее тоже «Алей» и «Алюсей».

И она как игралась и купалась в этих переκληках своего имени.

Только стала все худеть. Теперь уже 30: и при высоком росте она легче, чем 13-летняя Надя.

Отчего это – никто не понимает.

Она грустна и весела. Больна и все цветет.

Домой она только захаживает.

– Что, мамочка, лучше? О, да, конечно, лучше: ты сегодня можешь сидеть (т. е. не лежишь). Гораздо лучше...

И, отвернувшись, ловила улыбку подруги где-нибудь наискось.

– Ничего, мамочка, я приду! приду! Сегодня я спешу в Публичную (библ.). Прощай. Завтракать не буду.

И уже дверь хлопнула.

Она всегда была *уходящею*, или – мелькающей.

А бывало:

.....

.....

– Варя. Опять дырявые перчатки? Ведь я же купил тебе новые? Молчит.

– Варя. Где перчатки?

– Я Шуре отдала.

Ей было 12 лет. Она же «дама» и «жена».

Так ходила она всегда «дамой в худых перчатках». Теперь (2 года) все лежит, и руки сжаты в кулачок.

* * *

Не всякую мысль можно записать, а только если она музыкальна.

И «У.» никто не повторит.

* * *

«Наш Добчинский до всего добежит»...

Начал он социал-демократом и пробыл им чуть не до 40 лет. Но все полемизировал с Михайловским, а Мих. его не замечал. Тогда он стал поворачивать к государственности и народности. И теперь один из самых яростных публицистов-националистов и государственников. На все накидывается. И все его не замечают.

В этом рок. Быть незамеченным.

Умен он? Во всяком случае, не глуп. В школах не учился, ни в каких. Но много читал, – брошюр; газеты век читал. И пытался хоть изредка читать серьезные книги.

«Я говорю Столыпину»...

– А. А.?

– Не-ет! (сладко): Пе-тру Арка-дье-вичу! Говорю ему: «Я совершенно не согласен с вашей программой».

Наш Добчинский до всего добежал. «Как он попал к Столыпину?» Не так легко. И зачем? Значит, просил аудиенции. Но для чего? Чтобы сказать: «Я с вами не согласен». Но Столыпин хорошо знал, что «с ним многие не согласны». Почему же сказать? Чтобы Столыпин знал, что «не согласен и Г.».

Это – Добчинский.

А так угрюм. Молчит. В таких лохмотьях ходит. И читая «бранные на все стороны» статьи, никому не придет на ум, что под ними скрыто скромное существо Добчинского.

Одному ли мне он говорил, что «был у Столыпина, целый час был!!» – и что «сказал ему, что не одобряет его действий»? Со мной он редко видится, и, значит, об этом он говорил множеству. В этом и крючок.

Бедный Добчинский.

Но между тем как он пылает в статьях! Или, вернее, – «быстро бегает в статьях». И ближние его уверяют, что это «самый честный человек в России». Не спорю. Не знаю. Мне кажется вообще о Добчинском неинтересно, честный он или нечестный.

(Гофштиттер).

Мамочка! Мамочка! Вечная наша мамочка.

Один образ – как ты молилась, в Наугейме, Мюнхене, дома, везде...

Вот этот образ (дети его не видели) и прожег мне душу каленой иглой.

Мамочка молится, а я... Мамочка вечно больна, а я постоянно здоров.

И вот ужасное (тогда, всегда), как ураган, чувство: поменять мир на «мамочку», разбить все, отречься от всего, *уйти от всего* — чтобы быть с «мамочкой».

Быть с *молитвой* и *болью*.

Это и есть последняя правда моей жизни. После которой, естественно, все прежнее я назвал «ложью».

Я и послан был в мир для «мамочки» и больше ни для кого: осязательно – вот скопить 35 000 и ездить в больницу. Ну, и душа...

* * *

– Пора, – сказала мамаша.

И мы вышли в городской сад. На мне был черный сюртук и летнее пальто. Она в белом платье, и сверху что-то. В начале июня. Экзамены кончились, и на душе никакой заботы. Будущее светло.

Солнце было жаркое. Мы прогуливались по главной аллее, и уже сделали два тура, когда в «боковушке» Ивана Павловича отворилось окно, и, почти закрывая «зычной фигу-

рой» все окно, он показался в нем. Он смеялся и кивнул.

Через минуту он был с нами. Весь огромный, веселый.

– И венцы, Иван Павлович?

– Конечно!

Мы сделали тур. – «Ну, пойдемте же». И за ним мы вошли во двор. Он подошел к сторожке. – «Такой-то такой-то (имя и отчество), дайте-ка ключи от церкви».

Старичок подал огромный ключ, как «от крепости» (видал в соборах: «ключ от крепости», взятой русскими войсками).

– Пойдемте, я вам все покажу.

Растворилась со звуком тяжелая дверь. Я «что-то сто-ял»... И, затворив дверь, он звучно ее запер. «Крепко». Лицо в улыбке, боязни – хоть бы тень. Обои мы повернулись к лестнице:

Стоит моя Варя на коленях... Как войти по лесенке, – ступеней 6 – то сейчас на стене образ; увидал – «как осененная» Варя бросилась на колени и что-то горячо, пламенно шептала.

Я «ничего». Тоже перекрестился.

Вошли.

А вот и «красное сукно» перед боковым образом. Иван Павлович раньше рассказывал. «Нет прихожан. Одни приютянки. Думал, думал: этот образ всех виднее. И на ступеньках к нему положил красное сукно, а от нижней каймы обра-за до площадки тоже затянул красным сукном. Народ и по-

валил. А то очень монотонно было служить. Никого. Теперь и свеч будет много – все к этому образу, и прикладываться – толпы толпами».

– «Все будет как следует». И он отозвал меня в алтарь. Silentium⁴.

И все было хорошо. Тихо. Он все громко произносил, за священника, за диакона, и за певчих (читал). По требнику – который мне подарил, в темно-зеленом переплете (с ним я хотел сняться, когда рисовал портрет Бакст). А самое лучшее – конец.

Он все серьезно делал; а тут еще сделался *очень* серьезен. Когда мы испили теплоты, он сказал: «Подождите». Мы остановились. И он сказал:

– Помните, Василий Васильевич, что она не имеет, моя дорогая невестка (вдова его покойного брата), никакой другой опоры в жизни, кроме как в вас, в вашей чести, любви к ней и сбережении. И ваш долг перед Богом всегда беречь ее. Других защищает закон, люди. Она – одна, и у нее в мире только один вы. Поцелуйтесь.

Никогда этих слов я ему, милому, не забуду. С этих пор он стал мне дорог и как бы родным. Он уже умер (поел редиски после тифа). Царство ему Небесное.

Вышли. И он также запер дверь. И спокойно передал ключ сторожу, показавшемуся в дверях. Совершенно никого не было. Ни во дворе, ни в доме. «Приютянки» куда-то делись

⁴ Молчание (лат.).

(на дачу?). И сама Калабина – на даче. Она-то ему и прислала, через 2–3 года, «первых редисок». Любила и почитала его за светлый нрав.

– Ну, Бог с вами. Прощайте.

Мы сели (извощ.) и вернулись домой.

И наш домик (против Введения) был пуст. Санюшу отослали в Казаки (к дяде). Мамаша:

– Все кончилось?

– Да.

Она поцеловала обоих нас. Не помню, тогда (т. е. после церкви) или перед отправлением, она, став на колени перед образами, горячо-горячо молилась за свою Варю, и все поднимала руки: тут-то я заметил, что в горячей молитве руки обращаются *ладонями к образам* («В мире неясного и нерешенного»). Она именно так и делала... И молитва ее была прекрасна, и вся она, милая старушка (тогда только пожилая женщина, лет 55-ти), была прекрасна, вдохновенна и мудра.

У нее был духовником отец Иван (Вуколов), «высокий седой священник» (в конце «Легенды об Инквизиторе»). И она все ему сказала, и раньше советовалась, и потом досказала.

Он качал головой.

– Зачем только д.....?

Она была мудрая. И ответила:

– Все-таки же ободряет. Ведь дело страшное.

И как будто вывела его из мучительного затруднения. Он проговорил:

– Да, да! Конечно! Что делать.

Иван Павлович был и ему родственник. Дальний.

Побыли.

– Ну, что же. Надо обедать. Второй час. И побежала вниз в кухню.

Пообедали.

– Ну, я пойду в кухню, уберу посуду. А вы устали, и вам отдохнуть надо. Василий же Васильич всегда спит после обеда. И она меня поцеловала.

Мы легли.

Проснулись.

– Да, мамаша! Давайте чаю.

Напились.

– Ну, теперь пойдите гулять.

Пошли.

И весь город веселый, славный. И я нарядился, и Варя нарядная. Поехали в монастырь мужской, – первый раз. Чуть-чуть за городом. Вошли в аллею огромного сада: смотрим – Иван Павлыч гуляет. Поговорили, пошутили. Игуменом был... не помню, отец Иосиф, но скорее – отец Давид (если возможно). Только имя было – патриархальное. Моррисон же (учитель) рассказывал, что они «всегда туда отправляются, когда при деньгах». И «уединенно» и «можно все».

Иван Павлыч был очень весел. Мы радостны. Поговорили. Поехали домой.

Сейчас я припоминаю, что, значит, экзамены еще не кон-

чилились: потому что раз утром из-за двери услышал встревоженный голос мамаша:

– Девятый час!! Что же это я!!! Ему в гимназию.

И – через пять минут самовар. Но «до конца экзаменов» было не больше недели. Потому что столько мы прожили втроем: я, Варя и мамаша. Санюшу задержали в Казаках.

Мамаша была трепетна. Как ее, милую, я люблю до сих пор (и каждый день вспоминаю). Отворив дверь, вся в милом смехе, тихом и изящном, она обратилась ко мне:

– ...нравится ли вам Варя?

– ...н-н-нравится...

– Ну, что – старушка (27 лет). Нужно бы помоложе.

И смех. И смех.

– А нравитесь ли *вы*-то ей?..

Какая-то застенчивость в душе (у меня).

И всегда, и теперь, и потом, она все около нас. Она ужасно любила свою Варю. Как-то до брака, она говорила:

– Варя никогда не была веселая. Бывало, в девушках – все шумят, возятся. Она сидит где-нибудь отдельно, в уголку.

А Варя рассказывала:

– До 13 лет, уже большая, я все играла «в Академию»: мы чертили на дворе квадрат, потом – поперек, потом – еще поперек. И надо было на одной ножке перескакивать из отделения в отделение. Я уже тогда любила Михаила Павловича.

Мамаша о ней:

– У меня все «не выходило». И дала я обещание Варваре

Великомученице, что, как еще забеременю, – поеду поклониться ее мощам в Киев. И вот забеременела. Меня до этого лечил молодой врач-еврей, и очень мной занимался. Он мне предлагал одну меру: «будете здоровы», – но я сказала, что это «против Бога – и я меру не могу принять», и уж «лучше буду больная». Я совсем не могла выходить из дома, и когда надо было на платье купить, то Димитрий Наумыч всегда на выбор приносил материй на дом. Забеременев, на половину беременности я поехала в Киев: и усердно молилась, чтобы доносить. И доносила. И назвала «Варварой», потому что мне Варвара Великомученица помогла.

Когда я был в Киеве (а Варя уже болела), я горячо молился перед теми же мощами о выздоровлении «рабы Божией Варвары» и о «здравии старицы Александры».

Там был очень хороший монах. Я дал 3 рубля – «молиться о больной». А он мне дал, для больной, святой воды.

Так у нас все «вышло». И страшно, а хорошо.

(глубокой ночью).

* * *

«Ты уж теперь не испытываешь счастья. Так вспоминаешь прошлое».

(мама, прочтя отрывок об Иван Павловиче и «всем деле» в Ельце).

* * *

– Вася, ты уйди, я постоною.

– Стонай, Варя, при мне...

– Да я тебе мешаю.

– Деточка, кто же с тобой останется, если и я уйду. Да и мне хочется остаться...

(когда Шура вторично ушла, 23 октября 1912 г.

На счете по изданиям).